

Вопросы, заданные человечеству войной

Какие аргументы можно взять из этого интересного рассказа?

Во-первых, конечно, надо писать о роли матери в жизни человека, Можно о том, что Семен обидел мать, раскаялся, но было поздно...

Во-вторых, о роли друзей в нашей жизни. Не окажись рядом с Семеном этого фронтовика, может, он бы и вернулся домой, к матери...

В-третьих, можно писать о пагубной роли пьянства...

В-четвертых, можно привести пример в осуждение войны, которая так ломает человеческие судьбы.

Е.Карпов

Меня зовут Иваном

В самом конце войны немцы подожгли танк, в котором Семен Авдеев был башенным стрелком.

Двое суток слепой, обожженный, с перебитой ногой Семен ползал меж каких-то развалин. Ему казалось, что взрывная волна выбросила его из танка в глубокую яму.

Двое суток по шагу, по полшага, по сантиметру в час он выбирался из этой дымной ямы к солнцу, на свежий ветер, волоча переломанную ногу, часто теряя сознание. На третьи сутки саперы нашли его чуть живого на развалине древнего замка. И долго удивленные саперы гадали, как мог попасть израненный танкист на эту, никому не нужную развалину...

В госпитале Семену отняли до колена ногу и потом долго возили по знаменитым профессорам, чтобы они вернули ему зрение.

Только ничего из этого не вышло...

Пока окружали Семена товарищи, такие же, как он, калеки, пока с ним рядом был умный, добрый доктор, пока заботливо ухаживали за ним санитарки, он как-то забывал о своем увечье, жил, как все живут. За смехом, за шуткой забывал горе. Но когда вышел Семен из госпиталя на городскую улицу — не на прогулку, а совсем, в жизнь, то вдруг ощутил весь мир совершенно иным, чем тот, который его окружал вчера, позавчера и всю прошлую жизнь.

Хотя Семену еще несколько недель назад сказали, что зрение не вернется, он все-таки таил в сердце надежду. А сейчас все рухнуло. Семену показалось, что он опять очутился в той черной яме, куда его забросила взрывная волна. Только тогда он страстно хотел выбраться на свежий ветер, к солнцу, верил, что выберется, а сейчас не было той уверенности. Тревога закралась в сердце. Город был невероятно шумным, а звуки какими-то упругими, и ему казалось, что если он сделает хоть один шаг вперед, то эти упругие звуки отбросят его назад, больно ушибут о камни.

Позади госпиталь. Вместе со всеми Семен ругал его за скуку, не чаял, как из него вырваться, и вот теперь он стал вдруг таким дорогим, таким необходимым. Но

туда не вернешься, хоть он еще совсем рядом. Надо идти вперед, а боязно. Боязно кипучего тесного города, но больше всего боязно самого себя:

Вывел из оцепенения Семена Лешка Куприянов.

— Эх, и погодка! Теперь бы только с девчонкой погулять! Да в поле, да цветы собирать, да бегом бы.

Люблю подурачиться. Ну, пошли! Ты чего уперся?

Они пошли.

Семен слышал, как скрипел и хлопал протез, как тяжело, с присвистом дышал Лешка. Это были единственные знакомые, близкие звуки, а лязг трамваев, крики автомобилей, детский смех казались чужими, холодными. Они расступались перед ним, обегали стороной. Камни мостовой, какие-то столбики путались под ногами, мешали идти.

Лешку Семен знал около года. Небольшого роста, он часто служил ему вместо костыля. Бывало, лежит Семен на койке и кричит: «Нянечка, дай костыль»,— а Лешка подбежит и пропищит, дурачась:

— Я тут, граф. Дайте вашу белейшую ручку. Положите ее, светлейший, на мое недостойное плечо.

Так они и ходили в обнимку. Семен на ощупь хорошо знал Лешкино круглое, безрукое плечо, граненую стриженую голову. И вот теперь он положил свою руку Лешке на плечо и на душе сразу стало покойней.

Всю ночь они просидели сначала в столовой, а потом в ресторане на вокзале.

Когда шли в столовую, Лешка говорил, что они выпьют грамм по сто, хорошенько поужинают и уедут с ночным поездом. Выпили, как уговорились.

Лешка предложил повторить. Семен не отказался, хотя вообще выпивал редко.

Водка сегодня шла удивительно легко. Хмель был приятным, не одурял голову, а будил в ней хорошие мысли. Правда, на них невозможно было сосредоточиться.

Они были верткие и скользкие, как рыбы, и, как рыбы, выскальзывали, пропадали в темной дали. От этого на сердце становилось тоскливо, но и тоска долго не задерживалась.

На смену ей приходили воспоминания или наивные, но приятные фантазии. То Семену казалось, что однажды утром он проснется и увидит солнце, траву, божью коровку. А то вдруг появлялась девушка. Он отчетливо видел цвет ее глаз, волос, ощущал нежные щеки. Эта девушка влюблялась в него, в слепого.

О таких много рассказывали в палате и даже книжку вслух читали.

У Лешки не было правой руки и трех ребер. Война его, как он говорил со смехом, разделала под орех. Кроме этого он был ранен в шею. После операции горла он говорил прерывисто, с шипением, но Семен привык к этим, мало похожим на человеческие, звукам. Они меньше раздражали его, чем баянисты, игравшие вальс, чем кокетливое воркование женщины за соседним столом.

С самого начала, как только стали подавать на стол вино и закуски, Лешка весело болтал, довольно смеялся:

— Эх, Сенька, ничего на свете так не люблю, как хорошо убранный стол! Люблю повеселиться — особенно пожрать! До войны мы, бывало, летом всем заводом выезжали на Медвежьи Озера. Духовой оркестр да буфеты! А я — с гармошкой.

Под каждым кустом компания, и в каждой компании я, как Садко — желанный гость. «Растяни-ка, Алексей свет-Николаевич». А что ж не растянуть, если просят

и винишко уже наливают. И какая-нибудь голубоглазая на вилочке ветчину подносит...

Выпивали, закусывали, тянули, смакуя, холодное густое пиво. Лешка продолжал восторженно рассказывать о своем Подмосковье. Там у него в собственном домике живет сестра. Она работает техником на химзаводе. Сестра, как уверял Лешка, обязательно полюбит Семена. Они поженятся. Потом у них пойдут дети. Игрушек у детей будет сколько хочешь и какие хочешь. Семен их наделает сам в артели, где они будут работать.

Скоро Лешке стало трудно говорить: устал, да и, казалось, перестал верить в то, о чем говорил. Больше молчали, больше пили...

Помнит Семен, как хрипел Лешка: «Пропавшие мы люди, лучше б нас поубивало совсем». Помнит, как тяжелее становилась голова, как темнело в ней — светлые видения исчезали. Веселые голоса и музыка окончательно вывели его из себя.

Хотелось бить всех, громить, Лешка шипел:

— Не ездь домой. Кому ты там нужен такой?

Домой? А где дом? Давно, страшно давно, может,

лет сто назад у него был дом. И сад был, и скворечник на березе, и кролики.

Маленькие, с красными глазами, они доверчиво прыгали навстречу, обнюхивали его сапоги, смешно двигали розовыми ноздрями. Мать... Семена звали «анархистом» за то, что в школе, хоть и хорошо учился, но отчаянно хулиганил, курил, за то, что устраивал с братвой беспощадные налеты на сады и огороды. И она, мать, никогда его не ругала. Отец беспощадно порол, а мать только робко просила не хулиганить. Сама давала деньги на папиросы и всячески скрывала от отца Семеновы проделки. Семен любил мать и помогал ей во всем: колол дрова, носил воду, чистил коровник. Соседки завидовали Анне Филипповне, глядя, как ловко управляется сын по хозяйству,

— Кормилец будет,— говорили они,— а мальчишескую дурь семнадцатая вода смоем.

Пьяный Семен вспомнил это слово — «кормилец» — и повторил про себя, заскрипел зубами, чтобы не расплакаться. Какой он теперь кормилец? Хомут на шею матери.

Товарищи видели, как горел Семенов танк, но никто не видел, как Семен выбрался из него. Матери послали извещение, что сын ее погиб. И теперь Семен думал, стоит ли ей напоминать о своей никчемной жизни? Стоит ли беречь ее уставшее, разбитое сердце новой болью?

Рядом смеялась опьяневшая женщина. Мокрыми губами ее целовал Лешка и шипел что-то непонятное. Загремела посуда, перевернулся стол, и земля перевернулась.

Проснулись в дровяном сарае при ресторане. Кто-то заботливый постлал им соломы, дал два стареньких одеяла. Деньги пропиты все, требования на билеты уте-ряны, а до Москвы шесть суток езды. Идти в госпиталь, сказать, что их обворовали, не хватало совести.

Лешка предложил ехать без билетов, на положении нищих. Семену было даже страшно подумать об этом. Он долго мучался, но делать нечего. Ехать надо, есть

надо. Семен согласился идти по вагонам, но говорить ничего не будет, притворится немым.

Вошли в вагон. Лешка бойко начал речь своим сиплым голосом:

— Братья и сестры, помогите несчастным калекам...

Семен шел согнувшись, будто по тесному черному подземелью. Ему казалось, что над головой повисли острые камни. Издалека доносился гул голосов, но как только они с Лешкой приближались, гул этот пропадал, и Семен слышал только Лешку и звяканье монет в пилотке. От этого звяканья Семена знобило. Он ниже опускал голову, спрятав свои глаза, забыв, что они незрячие, не могут видеть ни упрека, ни гнева, ни сожаления.

Чем дальше шли, тем невыносимей становился Семену плачущий голос Лешки. В вагонах было душно. Уже совсем нечем было дышать, как вдруг из открытого окна пахнул в лицо ветер, душистый, луговой, и Семен испугался его, отшатнулся, больно ушиб голову о полку.

Прошли весь поезд, набрали больше двухсот рублей и сошли на станции пообедать. Лешка остался доволен первой удачей, хвастливо говорил о своей счастливой «планиде». Семену хотелось оборвать Лешку, ударить его, но еще больше хотелось скорее выпить, избавиться от самого себя.

Пили коньяк в три звездочки, закусывали крабами, пирожными, так как в буфете ничего другого не было.

Напившись, Лешка нашел по соседству друзей, плясал с ними под гармошку, горланил песни. Семен сначала плакал, потом как-то забылся, стал притопывать, а потом подпевать, хлопать в ладоши и, наконец, запел:

А мы не сеем, а мы не пашем, А туз, восьмерка да и валет, А из тюрьмы платочком машем, Четыре сбоку — и ваших нет...,

...Они опять остались без копейки денег на чужой далекой станции.

До Москвы друзья добирались целый месяц. Лешка так освоился с нищенством, что иногда даже скоморошничал, напевая пошленькие прибаутки. Семен уже не испытывал угрызения совести. Он рассудил просто: нужны деньги, чтобы доехать до Москвы — не воровать же? А что пьянствуют, так это временно. Приедет в Москву, устроится работать в артель и заберет к себе мать, обязательно заберет и, может быть, даже женится. А что ж, выпадает другим калекам счастье, выпадет и ему...

Семен пел фронтовые песни. Держался уверенно, гордо подняв голову с мертвыми глазами, встряхивая в такт песне длинными, густыми волосами. И получалось, будто он не милостыню просит, а снисходительно берет причитающееся ему вознаграждение. Голос у него был хороший, песни выходили душевными, пассажиры щедро подавали слепому певцу.

Особенно нравилась пассажирам песня, в которой рассказывалось о том, как на лугу зеленом тихо умирал боец, над ним склонилась старая береза. Она солдату, будто мать родная, руки-ветви протянула. Боец говорит березе, что в далекой деревне его ожидают мать и девушка, но он к ним не придет, потому что с «белой березой навеки обручен», и что она ему теперь «невеста и родная мать». В

заклучение солдат просит: «Спой, моя береза, спой, моя невеста, о живых, о добрых, о влюб-ленных людях — я под эту песню сладко буду спать».

Случалось, в ином вагоне Семена просили петь эту песню по несколько раз. Тогда они с собой уносили в пилотке не только серебро, но и кучу бумажных денег.

По приезде в Москву Лешка наотрез отказался идти в артель. Бродить по электричкам, как говорил он,— работа не пыльная и денежная. Только и заботы, чтобы улизнуть от милиционера. Правда, это не всегда удавалось. Тогда его отправляли в дом инвалидов, но он оттуда благополучно убежал на другой же день.

Побывал в доме инвалидов и Семен. Что ж, говорил он, и сытно, и уютно, присмотр хороший, артисты приходят, а все кажется, будто в братской могиле сидишь погребенный. Был и в артели. «Взяли, как вещь, которую не знают, куда сунуть, и поставили к станку». Целый день сидел он и шлепал — штамповал какие-то жестянки. Справа и слева хлопали прессы, сухо, надоедливо. По бетонному полу скрежетал железный ящик, в котором подтаскивали заготовки и оттаскивали готовые детали. Старичок, таскавший этот ящик, несколько раз подходил к Семену и шептал, дыша махорочным перегаром:

— Ты тут денек, другой посиди, да и просись на другую работу. Хоть бы на оттяжку. Там заработаешь. А тут работа тяжелая', а заработку чуть... Да не молчи, а наступай на горло, а то... Лучше б всего взять литровку да с мастером распить. Он бы и давал потом тебе денежную работенку. Мастер у нас парень свойский. Семен слушал сердитый говор цеха, поучения старика и думал, что он здесь совсем не нужен, да и ему все здесь чуждо. Особенно ясно он ощутил свою неприкаянность во время обеда.

Смолкали машины. Слышался говор и смех людей. Они рассаживались на верстаках, на ящиках, развязывали свои узелки, гремя кастрюлями, шурша бумагой. Запахло домашними солеными огурцами, котлетами с чесноком. Рано утром эти узелки собирали руки матерей или жен. Кончится рабочий день, и все эти люди пойдут домой. Там их ждут, там они дороги. А он? Кому какое дело до него? Вот даже в столовую никто не отведет, сиди без обеда. И так захотелось Семену домашней теплоты, чьей-нибудь ласки... Ехать к матери? «Нет, теперь уж поздно. Пропадай все пропадом».

— Товарищ,— кто-то тронул Семена за плечо.— Ты чего штамп-то обнял? Пойдем покушаем с нами.

Семен отрицательно покачал головой.

— Ну, как хочешь, а то пойдем. Да ты не журишь.

Снову всегда так бывает, а потом обвыкнешься.

Семен в эту же минуту ушел бы домой, да не знал дороги. На работу его привел Лешка и вечером он должен был прийти за ним. Но он не пришел. Целый час ждал его Семен. Проводил его домой сменившийся вахтер.

Болели руки с непривычки, разламывало спину. Не умываясь, не ужиная, Семен лег спать и уснул тяжелым, тревожным сном. Разбудил Лешка. Он пришел пьяный, с пьяной компанией, с бутылками водки. Семен стал с жадностью пить... На следующий день на работу не пошел. Опять ходили по вагонам.

Давным-давно Семен перестал раздумывать над своей жизнью, перестал

огорчаться своей слепотой, жил, как бог на душу положит. Пел плохо: надорвал голос. Вместо песен получался сплошной крик. Не было у него прежней уверенности в походке, гордости в манере Держать голову, осталась одна наглость. Но щедрые москвичи все равно подавали, так что денег у друзей читало. После нескольких скандалов сестра от Лешки ушла на квартиру. Красивый домик с резными окнами превратился в притон.

Анна Филипповна сильно постарела за последние годы. В войну погиб где-то на рытье окопов муж. Извещение о смерти сына окончательно сбило ее с ног, думала, не поднимется, но все как-то обошлось. После войны приехала к ней племянница Шура (она в то время только что окончила институт, вышла замуж), приехала и говорит: «Что ты, тетя, будешь жить здесь сиротой, продавай-ка хату да поедем ко мне». Соседи осуждали Анну Филипповну, дескать, человеку важнее всего иметь свой угол. Что ни случится, а домик свой и живи ни клятый ни мятый. А то продашь хату, деньги пролетят, а там кто его знает, как оно обернется. Оно, может, и правду люди говорили, да только племянница с малых лет привыкла к Анне Филипповне, относилась к ней, как к родной матери, и жила у нее иногда по нескольку лет, потому что с мачехой они не ладили. Словом, Анна Филипповна решилась. Продала дом и уехала к Шуре, прожила четыре года и ничего, не жалуется. И в Москве ей очень нравилось.

Сегодня она ездила смотреть дачу, которую молодые сняли на лето. Дача ей понравилась: садик, огородик небольшой.

Думая о том, что надо сегодня же починить мальчишкам старые рубашонки, штанишки для деревни, она услышала песню. Чем-то она была ей знакома, а чем, не понять. Потом поняла — голос! Поняла и вздрогнула, побледнела.

Долго не решалась посмотреть в ту сторону, боялась, как бы не пропал до боли знакомый голос. И все-таки посмотрела. Глянула... Сенька!

Мать, будто слепая, протянула руки и пошла навстречу сыну. Вот она уже рядом с ним, положила руки на его плечи. И плечи Сенькины, с остренькими шишечками. Хотела назвать сына по имени и не могла — воздуха не было в груди и вдохнуть не хватало сил.

Слепой умолк. Он пощупал руки женщины и насторожился.

Пассажиры видели, как побледнел нищий, как он хотел что-то сказать и не мог — задохнулся. Видели

пассажиры, как слепой положил руку на волосы женщины и тут же отдернул ее. — Сеня, — тихонько^ слабо сказала женщина.

Пассажиры встали и с трепетом ожидали его ответа.

Слепой сначала только шевелил губами, а потом глухо сказал:

— Гражданка, вы ошиблись. Меня зовут Иваном.

— Как! — воскликнула мать. — Сеня, что ты?! Слепой отстранил ее и быстрой неровной походкой

пошел дальше и уже не пел.

Видели пассажиры, как женщина смотрела вслед нищему и шептала: «Он, он». В ее глазах не было слез, а только мольба и страдание. Потом и они исчезли, остался гнев. Страшный гнев оскорбленной матери...

Она лежала в тяжелом обмороке на диванчике. Над ней склонился пожилой мужчина, наверное, врач. Пассажиры шепотом просили друг друга разойтись, дать доступ свежему воздуху, но не расходились.

— Может быть, ошиблась?— нерешительно спросил кто-то.

— Мать не ошибется,— ответила седая женщина,

— Так почему же он не признался?

— А как же такому признаться?

— Глупый...

Через несколько минут вошел Семен и спросил:

— Где моя мать?

— У вас уже нет матери,— ответил врач.

Стучали колеса. На минутку Семен, будто прозрел, увидел людей, испугался их и стал пятиться. Из рук выпала пилотка; рассыпалась, раскатилась по полу мелочь, холодно и никчемно звякая...

Из этого рассказа можно взять эпизоды в качестве аргумента к проблеме выбора. Капитан корабля стоит перед выбором: затопить корабль или спасти монахов...Выбирает исполнение приказа...

Второй аргумент может быть к проблеме памяти или нравственного наказания. Всю оставшуюся жизнь капитан несет на себе этот крест: он способствовал гибели 3000 монахов.